

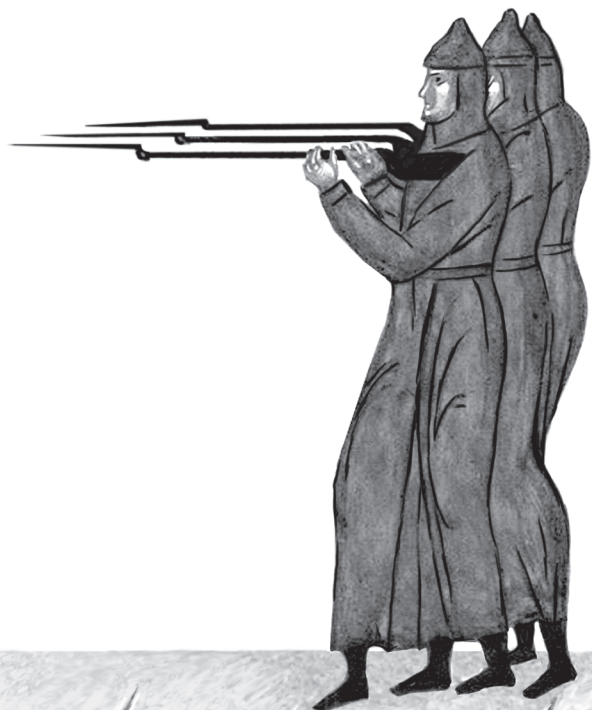




Наталья Иртенина

БАГРЯНЫЕ РИЗЫ

Роман



Часть
ПЕРВАЯ



Через кровь и через трупов гряды,
Ловкая в бледных устах,
Посмелеть снова впасть Иуды
На Голгофу распянуть Христа.

Взрю я, что близок свет денницы
Сердце жди! Я верю и молосю!
После тяжких дней Страстной Седмицы
Богъ воскреснет, и воскреснет Русь!



*В скоро грядущих страшных потрясениях жизни
многие из нас принесут кровавые жертвы:
одни во искупление своих грехов,
другие будут убиты, перерезаны,
задушены как жертвы за родину.
Но все же многие уцелеют, жизнь не прекратится.
И обреченные, быть может, на смерть,
приговоренные к казни, грядущим после нас потомкам
мы самой нашей гибелью оставляем ныне урок —
не пренебрегать Божественным законом,
имеющим высшую обязательность для совести,
не уповать слишком много
на красивые человеческие слова и фразы...*

*Надо спрашивать теперь не о том, кто виноват
в том, что происходит, а о том, кто не виноват...*

*Отрезвление будет тогда, когда
подобно благо разумному разбойнику скажем:
мы осуждены справедливо, потому что
достойное по делам нашим приняли.*

Осень 1917-го.

Священномученик Иоанн Восторгов

Глава первая

КРАСНАЯ МОСКВА. 1918 ГОД

Человек в шинели, с вещевым мешком за спиной шагал от вокзальной площади. В ночном безмолвии улиц оглушительно бухали по мостовой сапоги. Москва была полумертва. Город затаился, будто в укрытии. Только одни его обитатели хоронились за стенами, а другие ждали в засаде.

За весь путь лишь раз попало слабо освещенное окно, плотно зашторенное. Ни единого горящего



фонаря. Экономия электричества. Его поезд был последним, солдаты охраны проворно выдавили приехавших и прочий вокзальный люд из здания, кого-то вытолкали прикладами винтовок. Новый революционный обычай — ночью на вокзалах находиться запрещено. Редких извозчиков с площади вмиг разобрали. Трамвай будет только утром. Остальные, обвесившись узлами и чемоданами, второпях разбрелись на своих двоих — кто куда. Внутри Садового кольца попутчиков у молодого человека не осталось.

Московских адресов у него не было. В гостиницу ночью тоже не вселишься — заперты. От соседа в поезде удалось узнать лишь, что на Никитской, у бульвара, есть хорошая столовая, самая дешевая из приличных, бывшая кофейня.

Апрельский сырой воздух охлаждал лицо, и спать не хотелось. Молодой человек был возбужден — все-таки Москва. Однако нужно где-то устроиться на ночлег. Патрулям в такое время лучше не попадаться — могут и сразу пристрелить, только потом станут разбираться с документами. Или не станут. А документ у него хороший, самый что ни на есть верный. Даже имя в нем свое, не чужое. Иван Егорович Востросаблин, красногвардеец.

Вот, кажется, и патруль. Из переулка впереди донесся гулкий грохот шагов. Человек пять. Кого-то они уже прихватили.

— Иди, иди, папаша, не оглядывайся!

Приложением был крепкий мат.

— Это безобразие, граждане! Если я арестован, будьте любезны довести меня до тюрьмы на моторе!



И нельзя ли без сквернословия? — Возмущенный голос принадлежал, несомненно, старому интеллигенту.

— Да ты не скандаль, папаша, будет тебе и мотор, и козырной туз в придачу...

— Я, безусловно, буду жаловаться на это грабительство! Мои заслуги перед революцией известны товарищу Луна...

Револьверный выстрел не дал прозвучать фамилии осведомленного товарища. Вслед за тем раздался второй.

— У, сволочь барская! От добра распух, а делиться не хотел... Гордый!

— Да вся эта контра!.. Пинжак кабысь замарался, Петруха. Надо было в затылок.

— Ничо, и так сторгуется.

Востросаблин прижался к стене здания. Сапоги снова застучали по мостовой, приближаясь. Ущербная луна, висевшая прямо над улицей, очертила фигуры четверых. Трое были солдаты, один в матросском бушлате и бескозырке. У всех оттопырены карманы, в руках белые узлы из простыней. У матроса за спиной чемодан на веревочной лямке.

Из переулка они повернули налево и быстро скрылись. На соседней улочке взрыкнул мотор. Напряжение отпустило Ивана, он заглянул в переулок. В темноте на проезжей части белел мертвец, раздетый до исподнего. Востросаблин рассмотрел его, подойдя. Бородка клином, треснувшие очки. Он догадался: старика взяли при обыске квартиры где-то



неподалеку. Не кипятился бы — возможно, остался б жив. Да не всякий сумеет смолчать, видя, как собственное имущество переходит в руки и карманы бойцов революционной гвардии.

Востросаблин перешагнул через труп и почти побежал по переулку. Он не знал, где находится, и двигался, повинувшись чутью. Несколько раз свернул. Где-то близко должны быть бульвары.

Да вот и оно, Бульварное кольцо. Лунный свет озарял вывеску на трехэтажном доме: «Чистопрудный б-рь, вл. 2. Станция Московского почтамта». Иван, не раздумывая, пошел прямо. Справа через мостовую тянули свои голые руки к небу еще не оперившиеся листвой деревья. С версту он прошел по кольцу без приключений. Даже не стал прятаться от грузовика, проползшего по другой стороне улицы на умирающем движке. Только взвизгнувшая и пронзительно затарахтевшая мотоциклетка заставила вздрогнуть от неожиданности.

Меньше всего такая Москва была похожа на столицу великой России. Какой-нибудь ошалевший от войны и передраг Житомир, только раз в пятнадцать поболее. Да и великой России больше нет. Истаскалась, окривела от вранья и блудливых словес. Исторговалась с немцами и союзниками, ничего не выгадала и осталась у разбитого корыта.

От стены в трех шагах впереди отделилась тень.
— Стой, дядя, не спеши. Поговорим?

Чиркнула спичка, осветила худое острое лицо.
Зажгла папиросу в зубах.

— Что надо?



Востросаблин неприметно опустил руку в карман. И тут же ощутил кожей прикосновение лезвия к шее сзади, над воротом шинели.

— Грабли в стороны распахни.

Иван неторопливо поднял руки. Бандит обшарил карманы и выудил миниатюрный трофейный браунинг, помещавшийся на ладони.

— Теперь сымай мешок, шинельку, скидывай сапоги.

— Ладно, — нехотя согласился Востросаблин, — обскакали вы меня, парнишки. Только ножик-то отодвинь малость, не дай Бог заденешь.

— Ежели с нами полюбовно, чего ж не потрафить. — Из глотки ухмыльнувшегося бандита пахнуло перегаром.

Иван аккуратно поставил наземь вещевой мешок. Снял ремень и портупею, кинул рядом.

— Ты латыш? — расстегивая пуговицы, спросил он переднего — парня лет семнадцати.

За спиной у того висела прикладом вверх винтовка. Так носили только в латышских частях.

— Я не русский и не латыш, дядя. У нас теперь интырнационал.

Востросаблин освободил из рукава правую руку. Пока шинель болталась на одном плече, он завел руку за спину. Выстрел и истошный вой раздались почти одновременно. Бандит с ножом грянулся о тротуар. Иван наступил ему на руку и отобрал браунинг, прежде чем второй, выроня из зубов папиросу, успел схватиться за винтовку.

— А теперь ты не спеши. Винтовка-то не заряжена?



Парень, растерявшись, перехватил свое оружие как дубину. Но вдруг опустил руки, плаксиво заголосил:

— Не стреляйте, товарищ комиссар! Мы свои, пролетарские, за революцию...

— А-а, нога! Колено прострелил, волчара... — жалобно выл напарник.

— Какой я тебе комиссар? — Востросаблин махнул наганом: — Брось винтовку и отойди к стене. — Его перекивило: — Сколько я вас таких, гаденышей, во фронтовом тылу повидал... Ну чистая Одесса и гоп-стоп.

Приклад он разбил о камни тротуара, ствол погнул вторым ударом.

— Не убивайте, ваше... ваше благородие, — скулил бандит. — У меня мать-старуха...

Иван вдел руку в шинель, сунул наган за пояс. Браунинг уже лежал в кармане.

— Значит, как комиссар — так за революцию, а как благородие — старуху-мать пожалеть? Ну, верная тактика...

Он подхватил ремень с портупеей и мешок. Грабитель догадался, что убивать не будут, и рванул по темной улице вдоль домов. Отбежал шагов на тридцать, спрятался под аркой.

— Трефа, помоги!.. Ты куда, Трефа?! — вопил подстреленный.

Востросаблин, не оглядываясь, пошел своей дорогой. Вслед донеслось шипение:

— Ну погодь, падла офицерская, попадешься нам еще...



Начало Страстного бульвара он узнал по монастырской башне-колокольне. Ее шатровый верх с крестом остро, как пика, втыкался в небо, подсвеченное месяцем. На другой стороне площади на своем постаменте дремал стоя, как лошадь, первый поэт старорежимной России. Не узнать этот памятник, виденный на фотографиях, даже в полутьме было нельзя.

Скамейки на Тверском бульваре показались не столь привлекательны, как гранитный пьедестал в окружении толстых цепей. Востросаблин удобно устроился, опершись спиной о памятник, лицом к бульвару, под охраной Александра Сергеевича. Терпеливо, часа через два, дождался первых солнечных лучей и только тогда уронил голову на свой мешок. Лямки же крепко намотал на руку...

— Гражданин! Ты чего тут разлегся?

За плечо его крепко трясли. В уши ворвался резкий звон и визг металла. Востросаблин тер глаза, не желавшие просыпаться.

— А?.. Что за грохот?..

Он озирался и жадно рассматривал все, что было вокруг. Чугунные фонари с разбитыми стеклами. Некогда крашенные, ныне облезлые скамейки. Обнаженные кроны деревьев. Россыпи гниющего мусора. Красное полотнище поперек бульвара с надписью белой краской: «Да здравствует праздник трудящихся всего мира 1 Мая!». Извозчики на трусящих с ленцой лошаденках. Два прокатившие друг за другом грузовика, полные солдат и похожие на ежей из-за ошестинившихся винтовок.



— Трамвая, что ли, никогда не слышал?

Последними Иван оглядел патрульных с красными лентами на рукавах. Два солдата равнодушно грызли подсолнухи. Третий смотрел на него сверху вниз стальными глазами надзирателя.

— Документы, гражданин!

Востросаблин покопался на груди под шинелью, извлек сложенную бумагу.

— Та-ак... Сарапульский уком партии... Печать. Подпись комиссара... Е... Ка...

— Ефим Колчин, комиссар Летучего красногвардейского отряда в Елабуге.

— Сарапул, Елабуга... Названия какие-то... Все в порядке, товарищ. — Патрульный вернул удостоверение Ивану. — Ну и крепкий же у тебя сон! Позавидуешь.

— А что, Москва-красна стоит без сна? — широко улыбнулся Иван.

— При нашей-то работе... А ты с какой целью к нам, товарищ?

— Да понимаешь, браток, гниды контрреволюционные заедают. Приехал просить в центре помощи.

— Ну, добро. Удачи, товарищ!

Патруль затопал вдоль бульвара. Иван, сладко потянувшись во весь рост и размах, пересел на скамейку. Солнце светило прямо в глаза. Мимо Страстного монастыря снова прогремел трамвай, битком набитый людьми. На подножках открытых входов-выходов тоже висели пассажиры. При повороте трамвай замедлил ход, тотчас к нему прихватились еще несколько граждан. Двое запрыгнули на



станину прицепа, а с задней площадки свисала уже целая человеческая гроздь. Востросаблин только головой покачал. Никогда не видел такого диковинного «виноградного» способа езды. Да и к трамваям доселе привыкнуть не мог — страшно гремучая штука.

Он занялся едой. Из мешка достал ломоть черного хлеба, развернул чистую тряпицу и уложил поверх ломтя толстый шмат сала. Запил завтрак водой из фляжки. Напоследок вынул из кармана гимнастерки помятый красный бант на булавке и подцепил к портупее на груди.

Утро было позднее, без четверти восемь. Людей на улице немного, и все куда-то спешат, бегут, едут. Одеты тепло — весна стылая-постылая. Иван перешел через Тверскую и встал перед розовой громадой монастырской башни. Звонарь на колокольне начал бить конец праздничной обедни. Из ворот под башней потек ручей богомольцев с ветками вербы в руках. «Сегодня ж Вербное!» — промелькнуло в уме. Востросаблин машинально поднял руку перекрестить лоб, но, вспомнив о чем-то, уронил. Позади на рельсах опять дребезжал трамвай. По голове ему чем-то чувствительно смазало, сорвало фуражку.

— Шапку сыми, рогатый!

Это дотянулся до него плешивый мужик, висевший на поручне в двери вагона. «Да я еще неженатый, чтоб рогам-то расти», — хотел возмутиться Иван. Но пока он ловил фуражку, брошенную далеко от рельсов, его обидчик успел ужом ввинтиться в спрессованную гущу пассажиров и исчез на площадке.



Востросаблину тоже захотелось прокатиться с ветерком. Он узнал у прохожих номер нужного маршрута, дождался трамвая и, приноровившись, вспрыгнул на подножку. Плотно обхватил поручень в перехлест с чужими руками. Вагон повернул, затем выехал на Большую Дмитровку. На остановках задавленный голос кондуктора из глубины салона объявлял названия, требовал плату за билеты. Выходящие пассажиры мотали Ивана, грубо пихались локтями и ногами. Вновь садящиеся пытались оторвать его и сбросить. Те и другие озлобленно ругались. Но он своего места не уступал и держался мертвой хваткой. Платить за билет, конечно, не стал.

На Охотном ряду он спрыгнул на ходу, потому что пропустил нужную остановку. Трамвай завернул к Большому театру. Востросаблин скорым шагом миновал площадь, где шумно колготился разнообразный московский и приезжий люд. Остановился перед узористыми краснокирпичными теремами Городской думы и Исторического музея. Дальше высилась кремлевская крепость, ее шатровые башни-сторожки с орлами. У Иверских ворот между теремами толпился народ.

Толпа была возбуждена. Наэлектризованный дух скандала Иван уловил тотчас. Кричали с разных сторон, выли бабы, кто-то отчаянно матерился, требуя разойтись.

— Не наседай!.. А ну раздайсь, граждане!.. Милиция разберется!..

Многие были без шапок, то тут, то там стояли на коленях. Крестились, плакали, иные рыдали.



В несколько голосов молились нараспев: «Цари-ице моя преблага-а-а-я, надеждо моя Богоро-о-одице...»

— Владычице, заступи!.. Царице Небесная, не попусти!.. Матерь Божья, оборони!.. — истово клал земные поклоны кряжистый мужик, по виду из мастеровых.



Иверская часовня

Иверская часовня — первое место паломничества для всякого русского пришельца из иных городов и весей. Конечно, если он в Бога верует, а не на кочергу или звезду молится. Бывал тут с отцом и девятилетний Ванька Востросаблин, только что зачисленный в ученики вологодской гимназии и награжденный за это поездкой в Москву. Затеплили они тогда под чудотворной Иверской иконой Богоматери две самые большие свечи, а милостыни нищим раздали — Ваньке бы хватило месяц покупать леденцы.

Да и теперь, когда покидал родной дом, мать настояла, чтоб непременно поставил чудотворной толстую свечу и заказал молебен.

На стене ворот, над самым куполом часовни, была прибита красная холстина: «Религия есть опиум для народа!». Иван послушал скорбные разговоры. Толковали про ограбление. Ночью часовню



вскрыли, пытались содрать с чтимого образа позолоченную ризу. Но риза грабителям не далась. Воры удовольшились мелким подвесным золотом и серебром, что оставляли богомольники в благодарность за творимые чудеса.

У самой часовни ходили и стояли несколько милицейских. Бестолково покрикивали на верующих и, несмотря на озабоченный вид, явно не знали, что следует делать, как искать воров.

— Ты чего убиваешься, бабка? — спросил Вос-тросаблин стонущую и горестно подвывающую пухлую бабу.

— Дак чудотворную ограбили, ироды, святое опохабили!

— Не тебя же ограбили.

Бабка прекратила стонать и недобро зыркнула на него:

— Иди, иди, куда шел, антихрист.

— Да я-то пойду, — не отставал Иван. — А у вас-то что творится? Тряпку над часовней видишь? Чит-ать умеешь? «Религия опиум для народа». Разуме-ешь?

— Тьху на тебя, анчутка! — закрестилась ста-руха.

— А это, бабка, прямое дозволение вора́м — приходи и грабь лавочку, где опиумом торгуют. Вот так. А ты воешь.

— Это куда ж ты загибаешь, солдатик? — всу-нулась меж ними другая баба, в цветастом платке, помоложе.

— А лестницу приставить да снять?



— Кто ж даст? За это и в Чеку заберут. Праздник у их, вишь ты. Первомай. Кремль в красные покрывала обряжают. Как покойников своих, тоже в красное.

— А ворам кто дал грабить? — наседал Иван на обеих баб. — Товарищ Троцкий мандат им выписал? Тут у вас без мандатов ночью на тот свет переселяют без причастия. Самому черту не поздоровится... Приходи ночью и сымай!

Женщины смотрели на него одинаково круглыми недоверчивыми глазами.

— А бант-то, бант... — потыкала пальцем на его грудь цветастая бабенка.

Иван развернулся и стал выбираться из толпы, которая все разбухала и плотнела. Про бант он забыл. Но бант был нужен, по крайности на первое время, пока не осмотрится, что да как, пока не поймет, как работает тут, в главной революционной кашеварке, охрана диктатуры пролетариата.

— А ведь прав парень, — догнал его басовитый мужской голос. — Осердилась на нас Владычица за похабную тряпку, ну и попустила разбойникам...

* * *

На стенах и башнях Кремля кипела работа. Сверху, между зубцами, и снизу, с приставных лестниц, тянули на веревках алые завесы, драпировали стягами в цвет крови. Заматывали башни в исписанный лозунгами кумач. Молодежь трудилась весело, споро, с матерком, жизнерадостно переругивалась и хохотала. Снизу за правильностью оформления



нервно наблюдал человек в студенческой тужурке и засаленном картузе, перебирал в руках исчерканные эскизами листы бумаги.

— Товарищ художник, поглядите — теперь ровно?

— Митька, еще неси гвоздей!

— Держи крепше, чего зеваешь, так твою и распротак!..

Востросаблин с задранной головой остановился у Никольских ворот. Кумач уже прикрыл верх четверика башни. Из-под революционного савана выглядывали глубокие рытвины в кирпичной кладке. Дальше вниз все было словно изрыто оспой — изъедено орудийной октябрьской пальбой. По башням артиллерия работала прицельно. Никола Чудотворец на надвратной иконе был избит осколками снарядов и ружейными пулями, потерял левую руку. На месте одного из ангелов, стоявших по бокам иконы, остались сколотые кирпичи. Досмотреть Ивану не дали. Двое рабочих на деревянных лестницах размотали над образом сверток красной материи со словами «Да здравствует Интернационал!» и деловито, насвистывая, начали прибивать к краям киота.

Иван отправился дальше, к Спасским воротам. Попутно поглазел на недавно появившуюся братскую могилу бойцов революции под самой стеной. Длинный холм, уже покрывающийся травой, был обнесен колючей проволокой. Поверх лежали свежие хвойные венки. На проволоке висела жестяная табличка с выведенными стойкой краской словами: «Вы жертвою пали...»